

АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ

# МЕЧТА О ФРАНЦУЗИКЕ



Самое время!

Александр Давыдов

**Мечта о Французике**

«WebKniga»

2019

## **Давыдов А.**

Мечта о Французике / А. Давыдов — «WebKniga»,  
2019 — (Самое время!)

Новая книга А. Давыдова написана в его любимом жанре философской притчи, изложенной на страницах дневника предположительно российского бизнесмена из «бывших интеллигентов». Переживаемый кризис ему кажется не только личным, но и кризисом всей мировой, «запутавшейся в мнимостях». Чтоб избавиться от надоевшего быта и приевшихся обязанностей, он находит убежище в пансиончике «для творцов любого профиля» в неназванной стране, в которой, однако, угадывается Италия. Увлеченный местной легендой, он пускается на поиски ее постоянно ускользающего героя, некоего Французика, по его мнению, способного лишь своим чистосердечием отвратить всемирную катастрофу. Этот образ безусловно навеян автору личностью Франциска Ассизского, но не исторического, а словно обитающего во всех временах, «а также и наклонениях».

© Давыдов А., 2019

© WebKniga, 2019

## Содержание

Мечта о Французике	6
Запись № 1	6
Запись № 2	8
Запись № 3	11
Запись № 4	15
Запись № 5	18
Запись № 6	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Александр Давыдов

## Мечта о Французике

© Александр Давыдов, 2019

© «Время», 2019

\* \* \*

*Хотел бы посвятить св. Франциску Ассизскому, но не посмею*

## Мечта о Французике

### Запись № 1

Прежде никогда не вел дневник. Причин несколько. Первая, разумеется, это моя лень. Но, главное, уповая на свою некогда и впрямь надежнейшую память. Было время, я, казалось, пятась назад, мог припомнить всю свою жизнь от настоящего дня до первоистока, когда воспоминания не то чтоб упирались в стену, а тихо угасали в зыбком тумане самого раннего младенчества. Знаю, что младенческую память принято считать иллюзией: не собственной, а любимых, любящих, но и навязчивых свидетелей нашего существования. То есть выходит, это первая подмена, грозящая всю нашу судьбу превратить в фальшивку. Поэтому я всегда подозрителен к тем воспоминаниям, когда себя видишь будто со стороны. Но ведь моторная память безобманна. Помню, как учился ходить. Как впервые встал на ноги, сперва с великим трудом удерживая равновесие. Потом шагал все смелей и уверенней, испытывая яростный восторг и гордость прямохождения. Но и хорошо запомнил вдруг мне пришедшую трезвую мысль: «Чего ж гордиться, коль все ходят?» Говорить тогда я уж точно не умел. Кто-то предположит, что мне запомнилось чувство, к которому я лишь много позже приискал слова. Никогда не интересовался, как об этом судят психологи младенчества, – и вообще есть ли такая специальность? Думаю, вряд ли из-за полного отсутствия информантов: возможно, я действительно уникам ранней памяти – но сам уверен, что человек приобщается речи прежде, чем он овладеет артикуляцией, постепенно преобразовав необходимые для физиологической жизнедеятельности органы питания в речевой аппарат. Но важнее, что утратит богоданное чистосердечие, когда звук не метафора, не какой-нибудь вторичный смысл, а непосредственное выражение чувства или потребности. То есть когда, так или иначе, вторгнется ложь в его непредвзятое, целиком природное бытие.

И уж наверняка никто не поверит, что моя память еще куда протяженней. Однако я на этом настаиваю. Какая нянюшка мне могла поведать задним числом о тех муках, что я, еще замурованный в себе, испытал, ворвавшись в этот слишком изобильный, еще пока чуждый мне мир? Не это ли прообраз адских мук? Знаю по собственному опыту, что, кажется, беспричинный детский плач вовсе не каприз, а первая трагедия новорожденного существа. А после этого изначального ада – видимо, прообраз райского блаженства. Когда обернулся перевернутый вверх тормашками угрожающий мир – то есть вмешался уже зарождающийся разум, подправивший непредвзятое виденье реальности, – помню опять-таки отчетливую, словесную мысль: «А мир-то не так уж плох, как мне сперва показался, пригоден-таки для жизни». Но, честно говоря, даже и я сам с трудом верю в столь раннюю лингвистику.

Странное какое-то начало для дневника. Собирался фиксировать события своей жизни день за днем, а невольно обратился к первоистоку. Но дневник – вольный жанр, а первоисток еще как назойлив, – наверняка тайно правит нашей судьбой. Да и вряд ли удастся выпрямить свою извилистую жизнь, которая, кажется, сплелась в какую-то не распутываемую кудель (поясню это позже, а может быть, и не стану). И все-таки попытаюсь начать снова, коль записанный текст, в отличие от физической жизни, можно начинать сколько угодно раз и свободно переиначивать. Итак, вторая попытка: прежде я никогда не вел дневник, причин несколько – первая, разумеется, это моя лень. Но, главное, давно канули времена, когда я уповал на собственную память. Я стал замечать, что множатся потери, теряются даже не отдельные дни, а, случается, годы, даже эпохи жизни, большие фрагменты судьбы. В моем прошлом обнаруживается все больше пропусков и гулких, драматичных пустот. Конечно, знаю, что человеческая память милосердна – скрадывает наши проступки и мелкие пакости, ошибки, просчеты,

неловкости. Но хотя и не отношусь к тем, увы, немногочисленным счастливым, благословляющим каждый свой прожитый миг, каким бы тот ни был, упивающимся существованием как таковым, а даже не только собственным, однако я ценю и опыт своих неудач, которые для меня не мусор, не какой-нибудь жизненный спам, а что-то вроде цемента, без которого судьба не цельное нечто, а всего лишь руины прежнего благополучия.

Да, жалею, что не начал с ранней юности (а почему бы не с детства?) вести учет прожитым дням. Мог бы теперь располагать не только цельной картиной своей жизни, но и будто диаграммой чувствований, намерений, устремлений и разочарований. Тогда б сейчас прожитая жизнь мне б открывалась и в прямой и в обратной перспективе, – я мог бы проигрывать ее все альтернативы. А ведь можно еще и реконструировать всегда обрывистые жизненные сюжеты, – тогда самой скудной и заурядной жизни хватит даже не на повесть, а на целый роман-эпопею, где отразится время. Короче говоря, сколь было б обретений взамен нынешних потерь!

Но чего ж нынче сетовать? Видимо, в отличие от прилежных летописцев собственного существования, я все-таки свою жизнь недостаточно уважал. Теперь же она заставила к себе относиться с почтением, делается все важнее, весомей и трагичнее, уже клонящаяся к закату. Вот и постараюсь не растерять хотя б те дни, которые мне наперед отпущены, учитывая, что память, соответственно возрасту, теперь цепко удерживает позавчерашнее, притом к вчерашнему вовсе незначительная. Вот тут пока и сделаю паузу. Важно не запутаться в тенетах письма. На него глянуть со стороны: подлинно ли это мое, мне насущное слово или перепев чужой речи, который сколь бы ни был изящен, ему все равно грош цена. То есть действительный ли я автор или тут привычный самообман и вновь коварная подмена?

## Запись № 2

Перечитал запись. Это ли дневник? Где тут прожитый день в его полной конкретности, с его реалиями и точнейшими приметам? (А ведь собирался унизить нитку памяти фактиками, чередой которых и есть моя жизнь целиком, притом сознавая, что очень уж они склизкие, – запросто не ухватишь.) Тогда не стоит ли вырвать листки из блокнота и уже в третий раз начать снова? Нет, не решился. Так ведь можно угодить в карусель дурной бесконечности, да еще и для меня невыносимой пустой, можно сказать, алчный лист бумаги, сулящий все тяготы письма. (Хорошо, предположим, что я, непривычный к литературе, начал воспоминаниями, просто чтобы расписаться: прошлое все же доступней письму, чем настоящее, которое фиг-то сразу ухватишь.) К тому ж любой дневник это и рефлексия, интроспекция, попытка разобраться в себе самом и в результате возможность подсобрать свою личность, растасканную и соседствующими людьми, и слишком разнообразными аспектами бытования, – в этом я больше всего нуждаюсь, коль теперь частицы меня сварливо отстаивают каждая свою истину. Но исповедью дневничок уж наверняка не будет, поскольку я далеко еще не добрался до собственных недр.

Дневники чисто фактологические пишут лишь только оголтелые честолюбцы, уверенные, что их жизнь драгоценна, или уже признанные гении. Мне-то насущней не фактология прожитых дней, а скорей биография чувства, – только б дневник не превратился в подобье свалки неприкаянных эмоций. Так что не буду искоренять все эти полуоправдания – не перед кем-то, а самим собой (хотя, разумеется, любой дневник, даже самый интимный, пишется ввиду другого, и я тут не исключение), попытки себя убедить, что летопись жизни мне теперь насущна, тем преодолев обычную лень и страх перед обнаженной бумагой. А разве нет, коль нынче и весь мир так утомительно сложен, что в нем спроста не разберешься? По виду все более рациональный, он, по сути, превратился в какую-то причудливую мешанину фантазий, видений, утопических грез и упований, недодуманных мыслей, противоречивых замыслов и сомнительных концепций. Не скажу, что он потерял смысл, напротив – переполнен смыслами, ими забит под завязку. Это уже не эпоха, со своими понятиями, общепринятой мифологией, этикой и эстетикой. Так что его даже трудно назвать современностью. Подчас кажется, что нынешний мир настолько одряхлел, что ему не под силу удержать наличную реальность. Он будто прохудившийся мешок, ибо история протерлась до дыр, – весь в прорехах. (Подчас кажется, что и небо уже прохудилось – там зияет головоломная беспредельность.) По крайней мере, для меня изо всех щелей разошедшегося мира сквозит прошлое и будущее, мешая все времена. (Подходящая метафора, но к «сухой» прибавлю и влажную: все времена нынче переполнили современность, как вода скапливается у запруды, угрожая прорвать ее.) Наша современность напоминает международный базар, какое-то крикливое торжище. Я даже на своей родине уже давно себя чувствую иностранцем. Притом догадываясь, что где-то существует родина моего духа, – не в каком-то там мистическом, символическом или метафорическом смысле, а именно в самом прямом, географическом.

Честно говоря, ко всяческой электронной технике я испытываю стойкое отвращение. Мобильник мне видится неполиткорректным, вовсе лишая смысла понятие «личного пространства» и приватной жизни, а слово «гаджет», учитывая разоблачительность первого слога, чуетя змием-искусителем. Эти хитрые приборчики, которые лишь с виду кажутся человеколюбивыми, нас (имею в виду людей моего поколения) бесцеремонно выпихнули из обжитого прошлого в сомнительное, довольно-таки неуютное будущее.

О Всемирной паутине уж и говорить нечего, – коль паутина, мы все в ней запутавшиеся мухи (а где-то и паук). Поплутав в ее бестолковых лабиринтах, с их неустойчивой грамматикой, бездарным синтаксисом, как раз и понимаешь до конца нынешний переизбыток смыслов и тщету информации. К чему я все это? Конечно, не для того, чтоб лишний раз себе растра-

вить душу или покичиться собственным консерватизмом. Но дело в том, что, когда я наконец созрел в решимости все ж отыскать свою предполагаемую родину, мне пришлось-таки окунуться в липкий мир виртуалов. Было, конечно, стыдно прибегать в поисках насущнейшего к профанической, прежде мной проклинаемой машинке. Но что поделать, если людская молва сейчас предвзята и вообще сведена до едва различимого шепота; так называемые (будто в насмешку) средства массовой информации лживы все до единого, а туристические путеводители слишком уж настырно предписывают пути. Информационное преимущество интернета – его всеядность и тем самым равнодушная непредвзятость. Разумеется, блогеры и рекламодатели вам стремятся навязать и то и это, от разнообразных идеологий и политических ракурсов до холодильников, пылесосов, чайных сервизов и фаллоимитаторов, но невероятный переизбыток предложений обесценивает каждое. Чуткая, надо признать, система, и вот парадокс – будучи виртуалом, она теперь словно гарант подлинного существования. Того, что не оставило и следа в отзывчивом интернете, как бы и не существует вовсе, будто это какой-то случайный жизненный спам. Так наибольший ли парадокс в нашем до конца свихнувшемся мире мой поиск подлинного посредством мнимостей?

Надо сказать, что, блуждая паучьими лабиринтами, я обогатился множеством познаний, которые считал хотя и любопытными, но вовсе не обязательными. А ведь когда-то был энтузиастом знания, даже чем-то вроде информационного маньяка. Однако с годами как-то сам собой изжил эту пагубную зависимость. Попросту пришел к здравой мысли, что скопленных знаний с переизбытком хватит на мне отпущенные годы, а вот, видимо, от них не зависящей мудрости явно недостает. Поэтому мое исследование Всемирной паутины было для меня не столь увлекательным, сколь назидательным. Это ли не точный образ современного мира, теперь не только не упускающего ни мига своего существования, но и реконструирующего память, забывив человечество от благодетельного склероза? Хаос фактов, в которых еще попробуй разберись, какой-то, если можно так выразиться, путаный глобально-исторический синхрон, где целиком равноценно главное, второстепенное и вовсе случайное. Но меня, разумеется, интересовала не история, а география.

Честно говоря, я вовсе не был заранее вооружен каким-либо зрительным образом своей предполагаемой родины, хотя б даже туманным. Однако был уверен в своей интуиции, которая меня редко когда подводила, всегда позволяла прозреть истинную красоту под покровом гламурной красоты и вообще отличить бриллиант от стекляшки. Было даже любопытно, к какому именно ландшафту прильнет моя душа: каменной ли пустыне, исполненному тихой прелести пейзажу средней полосы, тайге ли, тундре ли, долине гейзеров, южноамериканским джунглям, какой-нибудь, – кто ж знает? – горделивой, пафосной столице или, напротив, тихому городку, с трогательными ли деревянными домишками и луковичками церквей, с черепичными ли крышами, отлогими, узкими улочками и островерхими храмами. Или вдруг да она изберет нечто несусветное, вовсе непредставимое и непредсказуемое.

Презируя рекламу, я, как человек добросовестный, прилежно обшаривал сайты различных туроператоров, сулящих райские кущи во всех уголках мира, теперь сократившегося до почти шаговой доступности. Отбрасывая места и местности одну за другой, я был не придирчив, а вдумчив. И главное, чутко прислушивался к собственной душе – не шевельнется ли, не капнет ли, выражаясь фигурально, тайной слезой... Тут прервусь. От моего письма сиюсекундная реальность все еще ускользает, но теперь она мне ударила в уши отчаянным боем местных курантов. Здесь время не делится на секунды, минуты, часы. Иногда оно вдруг настигает тишайшим, вовсе нетребовательным перезвоном разбросанных по взгорьям древних колоколен. Но режим питания в нашем пансиончике соблюдается неукоснительно, тем четко организуя здешнее существование. Вот и сейчас повар-бельгиец (подчеркивал, что именно валлон, а не фламандец, – какие-то у них счеты) яростно колотит деревяшкой в медный таз, созывая постояльцев на ужин. Он истинный художник своего дела, виртуоз, лауреат и даже победитель

кулинарных конкурсов. Но, в общем-то, я предпочел бы его гастрономическим изыскам, типа омара в собственных соплях, копченой мурены или язычков трясогузки, простую и здоровую пищу. Такое уж я неутонченное, совсем неаристократичное существо – и в мысли, и в жизненном обиходе всегда предпочитал простоту и естественность, я б даже сказал прямо, чуждую кудреватых подробностей. К тому же виртуоз кулинарии предварял каждое блюдо стихотворным спичем – пространным верлибром, не скажу, что талантливым, – где сообщал ингредиенты и способ его приготовления. И не дай бог коснуться пищи, прежде чем иссякнет его поэтическое вдохновение. Так вот сиди и жди, – а ведь горный воздух еще как возбуждает аппетит. Впрочем, в остальном наш кулинар – милейший человек: приветливый и общительный, лишь, так сказать, в сфере своего таланта капризный, подозрительный и придирчивый. Как, впрочем, любой талант, отчего я их общества всегда избегал.

Признать, с удовольствием откладываю блокнот, коль прожитый миг неуловим, рука с непривычки устала выводить буквы и к тому же пришло время суток, – так бывает где-то с четырех дня до восьми, – когда меня клонит в сон, а право мараить бумагу, как мы знаем, имеет лишь только бдящий.

## Запись № 3

Утром искупался в ледяном водопадике, что меня зарядило жизненным вдохновением. Верней сказать, его подхлестнуло, поскольку тут я еще ни разу не почувствовал душевного упадка. И все-таки, постепенно обретая отнюдь не теоретически опыт физического ветшания, не перестаю удивляться, до чего ж мы телесны. Не скажу, что я был когда-либо, даже в юности, энтузиастом жизни, скорей пытался быть ее сколь можно объективным наблюдателем, – причем, по расхожим понятиям, довольно бескорыстным, ибо моя корысть высшего свойства, – но с течением лет она для меня превратилась в совсем уж нудное, даже мне самому опостылевшее рассуждение, где никак не сходятся концы с концами, в род томительного парадокса. (А прежде ведь моя мысль была исполнена чувством, была живой, ранящей и кровоточащей, – равнодушной мысли, по мне, так вообще грош цена. Может, и вообще с годами она одряхла, – прежде я был в мысли упорен, любую додумывал до конца, теперь же все чаще, недодуманная, она будто повисает в воздухе, без итога и вывода. Боюсь, что из этого дневника будут тянуться охвостья недодуманных мыслей.) Еще совсем недавно мною будто владела безнадежная осень мироздания. До тех пор пока не обрел цельную частицу вечности, где злоба дневи отнюдь не довлеет, прошлое не растревает душу, а будущее не тревожит. В этой гористой местности время будто б и не стремится, а пребывает в вековечном покое. (Потому я и решил не датировать записи, притом указывая порядковый номер каждой, чтоб не перепутать последовательность. К тому ж неплохо отвлечься от настырного календаря, меня всегда призывавшего к делам.) Я б назвал это пространством смысловых соотношений, где, бывает, самое отдаленное куда различимей ближайшего. Оно мне видится как-то хитроумно, свежо зарифмованным, в полном смысле поэзией, – по преимуществу эпической, но иногда напоминающей простодушную песенку. Значит, отсеяв приманчивые, но для меня бесцельные фантомы Мировой паутины, я все ж угадал родину своего духа. Вчера услышал, как здешний пастух, гнавший по каменистой тропе истощно блеющее стадо, громко выкрикивал, озирая поросшие желтым кустарником взгорья: «Парадизо! Парадизо!» А ведь наверняка грубая крестьянская натура, да и местные красоты для него привычны.

Третьего дня, воображая себя чуть не альпинистом, я крутой тропинкой взобрался до соседней часовенки. Они тут скромны, простейшей конструкции, без мною презираемых излишеств; мало чем отличаются от сельских булыжных домиков. Надо сказать, что я с годами потерял прежде острое увлечение искусством, как и любой искусностью, которая мне видится нечистосердечной. Но в этом молельном домике был поражен истинной безыскусностью, лишенной ложного жизнеподобия и раздражающей актуальности, именно что детским простосердечием настенной росписи – трогательная мать, кукольный младенец, добродушно туповатые морды евангельских животных. Все это трепетно, однако в строгом каноне, не своевольно. Вот оно, воочию, хрустальное младенчество, заря нашего теперь потрепанного мира. Но прямо напротив этой рождественской сказки, стена в стену – вовсе иное творение: Страшный суд, изображенный тоже не слишком умело, но со злобным, мстительным вдохновением. Тут помесь какого-то злорадного садизма с самозабвенным обличительством ветхозаветных пророков. Свидетельство ли это о былых кризисах или грозное напоминание о будущем? Но даже и в этой капле горечи было нечто для меня пленительное. Без нее ведь счастье неполноценно.

Даже не знаю, чем меня привлекла рекламная страничка международного пансиона для неприкаянных художников (в рекламе говорилось «художников любого профиля»). Да, очень красивая, даже изысканная, местность – невысокие горы, чуть повыше грузных дождевых туч, поросшие лесом и отчаянной желтизны кустарником, горные террасы, ухоженные трудом хлебопашцев, но мало ли на свете красивых мест? Однако за этой гламурной роскошью мне почуялась какая-то особая нота, чистый и верный звук – сущий манок для моей души, которая везде

будто иностранка. Не обладая музыкальным слухом, в мелодии, бередящей иль, может, ласкающей, самый, по моим понятиям, что ни на есть корень мироздания, он, разумеется, не ложь и не скука, я всегда различаю какой-то несомненный для меня, хотя и отнюдь не акустический, что ли, звон. Впрочем, «звон» в данном случае пустое слово. Скорей речь идет о неких особых нотах, вне привычной гаммы, чтоб уловить которые, вовсе не нужен музыкальный слух, – не исключу, что здесь он даже помеха.

Художник ли я? В привычном смысле – да нет, конечно. Приятно думать, что я не овладел никаким искусством лишь опять-таки из-за лени, нехватки упорства и прилежания, необходимого, чтоб совладать с каким бы то ни было материалом, ему навязать собственную волю. Трудней признать, что у меня попросту нет никакого таланта, который оправдал бы мои некоторые, правда, не такие-то многочисленные жизненные чудачества. А без даже мелкого талантика кто я, собственно, такой? Пустопорожняя экзотика – по сути, никчемная, но весьма требовательная к жизни личность, неудачливый ловец вечно ускользающих смыслов. Но если речь о «любом профиле», то я, видимо, действительно художник: мои мечты и фантазии всегда ярко разукрашены, мысли, случается, даже афористичны, почти парадны, а вымышленные мною сюжеты, кажется, достойны великих романов. Однако попробуй все это выразить словом, красками, нотами, получается (разумеется, пробовал) нечто не то чтобы бездарное, неприглядное, но куцее, несовершенное, в каком-то изломанном чувстве и приблизительном выражении. (Кто знает, возможно, я потенциальный мифотворец?) И все ж, учитывая, безусловную художественность моей натуры, я себя счел достойным горного парадиза с довольно скромной оплатой жилья и услуг. Без колебания заполнил краткую анкету, где себя и назвал «художником чувства и мысли», что вполне устроило хозяйку пансиона, тем более в туристическое межсезонье.

Милейшая, надо сказать, молодая женщина, с дипломом по слегка пугающей всех отпрысков тоталитаризма специальности – «администрирование искусством». Жуть какая! Однако в ее университете, видимо, учили весьма деликатному администрированию, которое заключалось в том, чтобы создать атмосферу, благоприятную для творчества «любого профиля». А что для этого нужно? По моим понятиям, ничего, кроме доброжелательства, неназойливости и минимальной организации быта. В этом хозяйке помогли повар и еще, думаю, горничная, но тихонькая, незаметная – кто-то ведь исполнял черную работу: мыл посуду, наводил порядок в комнатах, изредка менял постельное белье. (Еще там жили два одинаковых черных котенка по кличке Джотто и Чимабуэ.) Правда, одно условие отличало этот скромный пансион от обычного хостела: каждый творец был обязан рано или поздно обнародовать результаты своих трудов на ниве искусства, тем подтвердив звание художника. Но разве такая уж беда где-то раз в неделю из вежливости выслушать переведенные на корявый инглиш какие-нибудь там японские хокку на современный лад или уважительно покивать головой, разглядывая свежесозданную картину приезжей абстракционистки? Сам же я отговариваюсь тем, что пока не созрел в мысли и чувстве, – и это правда. Прежде-то я был весьма легок и на мысль, и на чувство, эмоционален и подвержен умственным увлечениям, теперь они вызревают медленно, но уже не легковесны, а мне указывают путь. Надо сказать, что и этот блокнотик, и рекламную шариковую ручку с адресами, электронным и географическим, хостела я обнаружил на письменном столе в своей вполне уютной комнатке как безвозмездный дар и все-таки, наверно, неназойливое побуждение к творчеству.

Разноплеменное соседство меня вполне устраивает. Благо постояльцы вовсе ненавязчивы, поскольку, как и свойственно художникам, увлечены исключительно собой. Притом это не какие-то заносчивые, прославленные творцы, а почти самозванцы. Собственно, как догадываюсь, от меня отличающиеся только большей дерзостью и, возможно, менее взыскательным вкусом, по крайней мере, относительно собственного творчества. (Был издавна уверен, что графомания – не отсутствие таланта, а именно вкуса.) Поэтому понятие «неприкаянный худож-

ник», достойно не только меня, но и любого из здешних постояльцев: хмуровой финской четы, напоминавшей обликом, одеждой, мимикой и вообще повадкой сильно потрепанных жизнью байкеров, избыточно вежливой японки средних лет, задумчивого, довольно бесцветного испанца (я-то воображал, что они сплошь тореадоры), польки с чуть унылым обликом, видимо женщины трудной судьбы, и бородатого араба с каким-то подозрительным, ускользающим взглядом.

Симпатичная хозяйка мне сразу же объяснила «художественный профиль» каждого: финны – оба фотохудожники (они каждое утро отправлялись на велосипедах искать подходящую натуру), японка – поэтесса, испанец – сценарист мыльных опер, полька – живописец, араб – специалист по файер-шоу. Возможно, это политкорректное наименование терроризма, что, вероятно, тоже некий род искусства, но араб, пожалуй, самый тихий и неприметный из всех этих мало востребованных творцов: в разговоры вступает редко и неохотно, только вечно пощелкивает клавишами своего нотбука да еще три раза в день совершает намаз на полянке перед домом, прямо под моим окном. Таковы немногочисленные в осеннюю межумочную пору обитатели этого скромнейшего парадиза. На мой вкус, вполне пристойная публика. И главное, повторю, ненавязчивая, неспособная мне помешать созреть в мысли и чувстве. Правда, чуть смущала необходимость, встречаясь с моими сожителями по несколько раз на дню, изображать слишком уж радушную, очевидно неискреннюю, улыбку. Но это была все же минимальная, как я считал, временная, уступка мнимостям, борьбе с которыми я твердо решил посвятить остаток жизни. Общались мы на принятом международном языке, то есть пиджин-инглише, которым все владели одинаково бойко. Очень удобный язык – им, разумеется, не выразить всю глубину человеческой личности, он чужд метафизики, но вполне пригоден для поверхностного общения – обмена необходимой информацией и проявления, – как добавки к дежурной улыбке – столь же ни к чему не обязывающего доброжелательства. Подозреваю, что в подоплеке всех нынешних национальных языков таится этот самый пиджин-инглиш. По крайней мере, если это пока и не совсем так, то за ним будущее.

И одноэтажный домик мне сразу глянулся – вроде и неказистый, но, как говорится, экологичный, точно, нераздражающе, вписанный в горный ландшафт. Сразу ясно – это бывший, хотя и основательно перестроенный коровник, что отнюдь не отрекающийся от своего плебейского происхождения. Наоборот, будто им еще и гордится, самодовольно подчеркивает рустическую преемственность быта. Ну пусть коровник, – даже символично, ибо где как не в загоне для домашней скотины исток Рождественской сказки? Тем более внутри он вполне комфортабельный, со всеми положенными удобствами нынешней цивилизации, но без их переизбытка: простая сельская мебель; разумеется, горячий душ и ватерклозет, на кухне, что одновременно столовая, помимо газовой плиты, микроволновки, тостера и посудомоечной машины – традиционный крестьянский очаг и все ж грубо, но прочно слаженные ясли...

А все-таки увлекательное дело выводить на бумаге букву за буквой, слово за словом. Это тебя приобщает будто к иной, чем твоя, судьбе, к неиссякающему мирозданию, где ты не пешка и не жертва, а которому отчасти хозяин. К чему ж сетовать, что выходит вовсе и не дневник, а скорей повесть моей жизни, где я одновременно герой и автор, которую рассказываю сам себе, как постороннему, выявляя сюжет моего существования, было потерявшийся в суматохе будней? Я так пристрастился к этому непривычному мне занятию, что и не заметил, как солнце уже присело на горный пик и теперь там торчит, как на колу отрубленная голова. Вот-вот услышу трубный призыв польской художницы на вечерние посиделки. Дело в том, что дама с трудной судьбой немного попивает, а я для нее тут единственный собутыльник: своего рода славянское братство. Остальные пьют цивилизованно (даже и финны) – бокальчик вина за обедом, не говоря уж об арабском пиротехнике, твердо придерживающемся шариата. Не скажу что тягостная повинность, поскольку женщина нуждается не в собеседнике, а в слушателе, – если молчаливом, так и еще лучше. Чего ж плохого скоротать часок-другой на пристроенной

к хлеву открытой террасе, там попивая местное кисловатое, но довольно приятное, терпкое на вкус вино, притом думая о своем и машинально считая падучие звезды? Покой, благодать, непривычная мне беззаботность! Можно и не прислушиваться к полупонятному бормотанию соседки, в данном случае с непрошенной откровенностью изобличавшей мужское скотство. (Что ли, намек? Недаром ее зовут Эвой. Но из меня-то сейчас, даже и в этом раю, никакой Адам. Я б скорей нашу хозяйку избрал Евой, но не решусь к собственной судьбе, которая сейчас колеблется, как шарик, зависший на ребре, еще приплести чужую, – это было б и негуманно, и неразумно.) Впрочем, к этим вечерним посиделкам я даже успел привыкнуть, будучи несомненно человеком привычки.

## Запись № 4

Утром спустился с нашей горы в соседний городок, которому даже непонятно каким образом удалось сохранить почти целиком свое обшарпанное Средневековье, – да, по-моему, и жители в целом сберегли неторопливый традиционный уклад, несмотря на айфоны, айпады, спутниковое телевидение и тому подобные техногенные приметы нынешнего дня. Отраднo, что он пока не обрел туристического лоска, – путеводители о нем упоминают вскользь и равнодушно. Да и что удивительного, коль ему подобными с виду городками буквально усыпаны все здешние пригорки? К тому же, в отличие от него, иные знали эпохи пускай даже скромного, но все-таки величья – некогда были резиденцией какого-нибудь местного князька или там вдруг вспыхнул хотя б ненадолго очажок своеобразного искусства или ремесла. А здесь даже отсутствовал городской музей, – видимо вовсе нечем было похвастаться. Но, может быть, дело в том, что его обитатели равнодушны к прошлому, которое у них привычно под рукой, как и не озабочены будущим, поскольку здесь время будто и не зверь, нам терзающий душу, а лениво и беззаботно. Замечу: местные жители столь все же далеки от современной цивилизации, что даже не освоили пиджин-инглиша. (Как я узнал, большинство из них так всю жизнь и обитают безвылазно в своем обобщенном Средневековье, не любопытствуя даже посетить столицу здешней провинции, город заслуженный, с международной репутацией, до которого всего минут двадцать езды на местной электричке.) Но я с ними вполне могу объясниться на ошметках институтской латыни, которые не зря, оказалось, приберегла моя рачительная память. (Пару лет проучился в медицинском, но резекция трупов для меня оказалась невыносимой, – всегда был брезглив к любой мертвечине.) Я вообще легко схватываю иностранные языки, но только их поверхность, а не глубины.

Не знаю почему, но я безошибочно чувствовал, что именно тут способна родиться иль, может быть, обновиться легенда. Окончательно разуверившись в расхожих, общеупотребительных смыслах, я теперь уповал на легенду, – не то чтоб за ней охотился, подобно ученому-фольклористу, но был уверен, что она сама меня настигнет, или, верней, я расслышу ее зов меж толков, сплетен, рекламы, политических лозунгов и всевозможных видов нынешней дезинформации. Только надо чутко прислушиваться, – иногда ведь (не всегда ли?), мы знаем, судьбу человечества решает тихое, притом необходимое, долгожданное слово, прозвучавшее чуть не шепотом где-нибудь в захолустье, на самой окраине цивилизации.

Да, подчас мне кажется – все легенды уже так давно сложены, что словно существуют от века, и любая новизна нынче будет ложной. Даже теперь объявись, встань во весь рост посреди измелчавшего мира, полновесный гений, действительный, как в былые века, титан мысли, духа и творчества, он лишь ввергнет нас в тягостную мороку очередных соблазнов. (Любую проповедь мы сами же и переверем.) Думаю, наш будто угасающий мир, загроможденный напрасными формами, может освежить только искреннее до конца чувство. Если и гений, то обладающий единственным даром – полного чистосердечия, который сумеет разбудить задремавшую легенду во всем ее величье. Причем не в слове – витийстве или даже пророчестве, а именно поступком. Каким именно? Если б я знал, сам давно растеряв природное чистосердечие, от которого сохранилось только чутье на фальшь и к ней полное отвращение. Это очень важное свойство, учитывая, что нынешний мир полон всякого рода фальшивок, подвохов и каверз. Вероятно, именно этот край избрала моя душа, поскольку, кроме дивной красоты, ощутила его сокровенную правдивость. Понимаю, что это звучит не слишком-то внятно. Говорят, дневник помогает дисциплинировать мысль, в чем с годами я все больше нуждаюсь. Надеюсь, так и будет, но пока она остается столь же расхлябанной и своевольной, – все норочит сбиться на второстепенное, – какой сделалась в последние время. (Кстати или некстати вспомнил, как мой приятель физик с помощью не такого уж сложного эксперимента взвесил

человеческую мысль. Оказалось, меньше какого-то вшивого миллимикрона, а ведь способна как извратить мир, так и его повернуть лицом к истине.) Однако чувствую, во мне постепенно крепнет очень важная догадка, которую лучше б не вспугнуть неосторожным, преждевременным словом...

Я здесь так часто выпадаю из современности, что даже перестал этому удивляться. Над сладкими взгорьями будто реют вековые образы; как в совершенной памяти, все оставляет след. Наверное, потому так плодотворны и неожиданны ракурсы. По крайней мере, мне они тут кажутся богаче и разнообразней, чем в других местах. Не знаю, возможно, это моя иллюзия, но, кажется, тут образ явлений и событий чуть не целиком зависит от настроения чувств и точки зрения: какую-нибудь гостиничку или таверну можно легко перепутать с феодальным замком, – правда, понятие замка в этих краях слишком растяжимое, большинство из них мало чем отличаются от хижины зажиточного крестьянина. А медлительные ветряки на холмах, сменившие прежние мельницы, принять за не слишком, правда, злых великанов. И внешний облик местных коренастых и толстозадых селянок вдруг для меня начинает мерцать первоизданной прелестью церковных примитивов.

Я тут безо всякой горечи потерял (точней, оборвал) связь со своим прежним миром. (Не потому, что здесь от кого-то прячусь, как могут подумать мои друзья и коллеги, – и наверняка подумают. Ну да, немного подзапутался в делах и слегка нарушил дистанцию с верховной властью, от которой надо бы держаться подальше. Но ведь выпутывался из куда больших неприятностей. Да и жизнь моя была, по сути, так ничтожна, что я не заимел настоящих врагов.) Когда-то я себя там считал не то чтоб заметной персоной, но, по крайней мере, не пустым местом, – тем более что имел некоторое отношение к нефтяным потокам, которые – кровь в склеротических жилах мировой экономики. Не скажу, что был мучим непомерной гордыней, себя мнил пупом земли, – всего-то претендовал на суверенный клочок жизненного пространства, который до поры твердо, даже умело отстаивал. Но потом его как-то упустил, в один ужасный день обнаружив, что за всю жизнь ничего не скопил на старость, кроме горстки привычек, – ни внятных понятий, ни твердых убеждений, ни решительно поставленных целей, ни беззаветной веры во что бы то ни было. (То, что я когда-то называл верой, скорей напоминало весьма робкую надежду.) Так что действительно, велика ли потеря? Притом странным образом, моя почти до конца упущенная жизнь не только не избавляла от обязанностей, но те умножались, делались все разнообразней, требовали тщательного попечения. Ценностей-то я не приобрел (кроме только материальных), но себя как-то обнаружил погребенным под огромной кучей мусора, вовсе ненужного хлама, если назвать таковым якобы дружеские связи (уж не говоря о связях, если можно выразиться, любовных, где любви ни на грош, даже и похоти, – одно тщеславие), давно лишённые теплоты, оттого постоянные юбилеи, чествования, похороны, поминки, к которым надо еще добавить презентации, научно-практические конференции, производственные совещания, всю мою нудную работу, что мне давно уж обрыдла да и стала бесцельной, поскольку я был достаточно усерден и запаслив, чтоб, хоть и особо не шикуюя, – а это уж точно не в моем обычае, – обеспечить себе хлеб насущный даже на мафусаилов век. Мне с раннего детства внушили, что эта, по сути, тупая колготня и есть настоящее дело, а дела истинно важнейшие – как, например, бескорыстное дерзанье мысли, воспитание чувств, наслаждение красотой – в моей слишком прагматичной среде было принято называть бездельем.

Если так, я тут предаюсь блаженному безделью, как школяр, наконец-то дождавшийся каникул. Издавна хотел научиться жить бесцельно и непрактично, – моя инертность рождала и необычайную цепкость, позволявшую преуспеть в достижении целей. Но по большому-то счету те оказывались миражом и фикцией, – так я и шагал по жизни чредою напрасных побед. А вот теперь делаю эти необязательные записи, посредством которых пока не удержал не то что дня, но даже и минуты. Видимо, для этого требуется особая литературная сноровка. А моя

нетренированная рука, то несется по бумажному листу в каком-то ликующем упоенье, то вдруг запинаясь, теряет легкость. Но, может быть, тем и легковесность: кто знает, не попалась ли в сети моего письма не какая-нибудь плотвичка, а наконец крупная рыба, для которой моя сеть пока еще хлипковата? Ну что ж, отсутствие мастерства вовсе не пагуба, чему свидетельство те самые фрески из горной часовни. Они и могут послужить доказательством, что мастерство, чисто техническая выучка вовсе тщетны.

Мастерство всегда сбивает на проторенные пути, лишая непредвзятости. А самому торить пути дано лишь только настоящим, великим талантам (а много ли их, великих-то?). Я же вовсе не претендую на литературный талант (легко прощу себе и повторы, и стилистические несовершенства), поскольку таланты небольшого калибра только и умеют наслаивать беллетристику на беллетристику. Хорошо, что я не в курсе ни способов, ни методов, ни, если можно выразиться, догматики письма, – прежде, не исключено, это было проявлением коллективной самобытности, как отметил один умник былых времен, а нынче – скорей дурная привычка. Ну может, и в курсе, коль прочитал множество книг, поскольку застал ту эпоху, когда уважались эрудиция и начитанность, но моя рука, слава богу, не приработана к готовым формам. Древний канон, где явственна легенда, разумеется, нечто совсем иное, но попробуй теперь ему следовать, выйдет натужная стилизация. Вот и разгадываю жизнь как умею, по сути, шарю наугад в пустоте, теперь не пытаюсь, учитывая прежние творческие неудачи, запечатлеть свои парадные мысли, как и цветистые, разукрашенные видения, которые на бумаге вянут. Моим записям подобает спонтанность. Целенаправленность дневнику повредила бы. Но самое худшее, если б во мне вдруг родился писатель, в нашем вольном, никому ничем не обязанном бытии упорно высматривающий сюжеты, то есть норовящий всю жизнь омертвить литературой. Когда-то престиж ее был высок, теперь – ниже плинтуса. И неслучайно.

Я уже догадался, что надо не атаковать смысл, так сказать, в лоб, а его исподволь приманивать. Как я тут приманиваю птиц, почему-то здесь особо сладкоголосых, пытаюсь насвистывать как умею (в детстве умел хорошо, разбойным посвистом, которому научился у соседских шпанят-голубятников), – странный для меня самого, какой-то экзотический вид безделья. У меня это, видимо, и сейчас выходит не так уж плохо – певуны присаживаются на ближнее дерево и мгновенно стихают, слушают молча, будто я им читаю проповедь.

## Запись № 5

Сегодня, проснувшись ранним утром, наблюдал солнечный восход над горами, что сам бы еще недавно считал занятием пошлым и бесцельным. Однако зрелище было не только дивное, но и символичное, богатое отсылками, ассоциациями и, так сказать, художественными реминисценциями. А ведь именно из тех частностей жизни, вглядываться в которые мне прежде было недосуг. Сейчас задумался: то, что мне ошибочно виделось орнаментом на краях существования, милым, но вовсе необязательным украшением, не именно ли его суть, верная символика истины? По крайней мере, если общий смысл где-то затерялся, необходимо приглядеться к деталям. А ведь до сих пор, признаю, что был мелко прагматичен не только в мысли, всегда устремленной к какому ни есть практическому результату, но и в чувстве, не падком на излишние сантименты. Сугубую конкретность мысли и практичность памяти я никогда не относил к своим недостаткам, даже, точнее, всегда считал достоинством. Честно говоря, и теперь так считаю. Только надеюсь, что, избавленные от частных целей и мелочных задач, они сами собой настроятся на высшую корысть, которая для меня судьбоносна. Вдруг, так я подумал, да обнаружится и в моем прошлом какая-то ценнейшая залежь, погребенная под спудом каждодневных забот.

Было, ведь что-то было – какие-то наметки иных путей, от которых должны были остаться не до конца заглохшие тропы. И вот что именно сейчас, в этот самый миг, мне подбросила всегда услужливая память. Пусть и не всемирную ценность, но воспоминание сейчас для меня чрезвычайно важное, учитывая нынешнее состояние моего чувства – возможно, это и есть тот утерянный лейтмотив моей жизни, который теперь стараюсь уловить или, верней, расслышать. Еще пару дней назад я даже с какой-то отчаянной горделивостью едва ли не славил собственную неискушенность в письме и даже общую бездарность. А ведь была у меня в давней юности одна несомненная если не литературная, так интеллектуальная удача, притом напрямую связанная с моей нынешней тоской по глобальному чистосердечию. Выходит, что колья и бездарь, так особого типа, все же способная на единственный порыв вдохновения. Правда, кто знает, может быть, на подобный моему прорыв нежданного творчества способны многие или даже любая человеческая особь? Действительно, хрен его знает – я ведь и сам стыдливо утаил этот будто и незаслуженный дар благодати.

А вдохновение было, не сомневаюсь, подлинным, как раз таким, как его представляет обыватель вроде меня. То есть как возбуждение всех чувств и почти физический раж – трясущиеся руки, вспотевшие ладони, наверняка безумный взгляд. Тогда я был юнцом дерзкой повадки и заносчивой мысли. Правда, в те годы редко какую мысль додумывал до самого конца, спешил ими поделиться, а потом забывал, – да эти мыслишки и недорого стоили. И все ж одна из них вызрела и нежданно сорвалась на бумагу, притом странным образом, минуя сознание. Очень даже странно: мысль, но будто вне мыслительного процесса. Грубо звучит, но, может быть, это был интеллектуальный выкидыш? Однако пару дней я был просто обуян творчеством. Рука сама собой очень лихо неслась по бумажному листу, казалось, вдохновленная неким демоном. А как иначе, коль я не сочинял, не подбирал слова, а они, мне легко сами подворачивающиеся под руку, были словно и не мои вовсе, а мне чужие, совсем непривычные? Они сплетались и для меня самого лишь в постепенно прояснявшийся смысл.

Теперь, разумеется, не припомню ни единой фразы, – все они как пришли нежданно и незваными, так сразу и ушли, в памяти оставив быстро исчезнувший след. Однако суть этого трактатика – не трактатика, бог знает как его назвать, короче говоря, моего буйного интеллектуального, отчасти и художественного выплеска, – ниспровержение всех каких ни на есть одеяний, облачений, оболочек, покровов, проще говоря, любых форм. Причем делал я это с

огромным, вообще-то несвойственным мне пафосом. До тех пор я даже не догадывался, что они мне так обрыдли. Даже гордился, что легко применяюсь к любым формам быта и бытия.

Но выходит, что где-то в глубине души, а возможно, и тела, видимо, уставшего от навязанных жестов, у меня давно зрел этот страстный бунт. Иначе как объяснить мой почти истерический пафос? И вряд ли демон-формоборец вдруг обуял случайно подвернувшуюся душу. Я сулил человечеству многие беды, даже окончательную гибель из-за его подверженности лукавству всегда обманчивых форм. Грозно вещал, даже трудно сказать, к кому именно обращаясь, будто выкрикивал в ту самую благословенную, благородную пустоту, по крайней мере избавленную от всего ложного, на которую уповал и которую призывал. Была ли это какая-то мне и самому не до конца понятная анархическая диверсия против человеческой цивилизации как таковой? Даже и не ясно во имя чего, какой высшей ценности, коль учесть мое тогдашнее безверие. И как я сам-то намеревался жить в этом оголенном мире? Однако, грозя человечеству гибелью, я все-таки не потерял до конца всегда мне свойственного оптимизма. Уповал, конечно, не на структуры и какие-либо институции, общественные или государственные, что суть – зловреднейшие изо всех формообразований, а на особых личностей, не подверженных каким-либо условностям и недобросовестным конвенциям, которых называл «попыньями духа». Ссылаясь на прецеденты, напоминал, что именно им, вольным или невольным борцам с любого рода фарисейством, даже негромко возгласившим чистосердечную правду, удавалось будто обновить историю, вывести ее из очередного тупика.

В этом трактатике, или, скажем, моей интеллектуальной ереси, как и свойственно мыслителям-дилетантам, я ввел много спонтанной терминологии, но сейчас вспоминаются только эти «попыньи». Теперь с удовольствием перечитал бы свое незрелое, но целиком вдохновенное сочинение, в котором, как выяснилось, кое-что предугадал и в судьбе человечества, и уж наверняка в своей собственной. (Вот ведь теперь возвращаюсь к той упущенной развилке, куда упирается полузаглохшая тропа.) Но, увы, увы, будучи дилетантом мысли, я поступил со своим сочинением, что и началось не сначала и оборвалось на последнем взлете, – попросту говоря, нежданно взбурлившее вдохновение разом иссякло, – как мыслитель добросовестный, то есть подтверждающий слово делом (отчасти, думаю, тут сработала моя практичность: грош цена слову и мысли, если за ними не следует поступка). Сперва-то попытался водить по бумаге уже невдохновенной рукой, которая теперь оставляла след какой-то совсем убогий: либо бездарное повторение этических проповедей, либо бесцельное – своих же собственных, даже артистично изложенных соображений. Но вскоре устыдился этого занятия, жалким потугам ловить за хвост отлетевшего демона. И даже более того, предал испещренные нервными каракулями странички огненной казни – сжег все с первой до последней, как действительно опасную ересь, а их пепел с наслаждением, но также и некоторой горечью, развеял по ветру.

Тогда мне казалось, что жертва не так уж велика – мол, обнародуй свое творенье, что б я приобрел кроме сомнительной репутации кухонного пророка, коими тогда кишели именно почему-то кухни моего родного города? (Видимо, как символ очага, у которого собирались наши давние предки обсудить новости архаичной политики, но также и проблемы бытийные.) Теперь же понимаю, что это была подлинная добросовестность, едва ли не единственный истинно возвышенный поступок в моей жизни. И не кому-либо в укор, и не в качестве мазохизма, и не как гордое отречение от случайной удачи, и не из скепсиса в отношении человечества, якобы недостойного моих столь глубоких прозрений. А дело в том, что я почуял странное, даже пугающее противоречие – этот бунт против каких ни есть оболочек, был сам облечен словами, способными оболгать всякую свежую мысль. Мы-то ведь знаем, как прочна оболочка словес, нет ее прочнее. В результате, говоря тем же торжественным слогом, что написан мой столь вдохновенный труд, я утопил его во мне хотя бы чуть приоткрывшейся попыньи духа. Но, честно говоря, тогда надеялся, что демон творчества меня посетит еще не раз, а может быть, и вовсе зачастит. Не случилось и вряд ли уже случится. Сейчас, когда пишу эти строки, увы,

ни демон, ни ангел пока что не подхватил мою руку, которая будто шарит впотьмах, стараясь ухватить сокровенный смысл.

Правда, тогда был возможен поступок еще добросовестней – постараться бы сколупнуть с себя самого кору, как выяснилось, навязанного существования. Но это было б уже слишком – тут и страх перед жизнью, в котором я себе редко признавался, и ужас небытия да и просто стыд оголить свое младенчески нежное тельце, а верней – свою бьющуюся в бессловесной маете душу. Как раз был бы чистейший мазохизм! Обнародуй же я свой трактат, человечество вряд ли отозвалось бы на мой крик души и, уж разумеется, не образумилось. Да и где я, а где человечество? Ведь, как и все, лично соприкасаюсь с довольно-таки немногочисленным кружком, условно говоря, друзей, а также сослуживцев, партнеров по бизнесу, теннису, покеру и бриджу, соседей по дачному поселку, которые тоже ведь все вместе – оболочка моего существования и ему защита. (Нынче-то, по крайней мере, существуют всякие твиттеры и фейсбуки, где кто хочет волен пороть любую чушь. В те же глухие времена и писатели-фантасты не предчувствовали настолько уж беспардонной свободы слова.) Вряд ли б они оценили мою метафизику, – а те из них, кто был хоть немного способен к абстрактному мышлению, могли это принять за бунт тайного честолюбца против справедливых субординаций. Боюсь, они б в результате исторгли из своей довольно теплой для меня, по крайней мере привычной среды такого, как выяснилось, невероятного умника, озабоченного столь им чуждыми, понапрасну тревожащими проблемами. А если б дошло до моего начальства, то оно решило б, что я свихнулся, – вот был бы и конец моей так успешно начатой карьере. Получается, практические соображения оказались в данном случае не менее важны, чем метафизические? Даже сам не знаю. Все-таки скорее нет, чем да. Мог ведь я и не совершать своего инквизиторского акта, а просто где-нибудь надежно припрятать небезопасную рукопись как записку в случае жизненного банкротства. Но поступил именно так, как поступил. Теперь поздно жалеть. Да к тому ж в этой местности меня вообще перестали мучить любые сожаления, и тут я надеюсь восполнить свои утраты. Ее красота, допустим, тоже оболочка, но мне видится прозрачайшей – ничего не скрывает, а, наоборот, свидетельствует и преподносит.

## Запись № 6

Рано поутру меня разбудил своей молитвой наш магометанин. Выглянув в окно, я ему объяснил словами и выразительным жестом, что он мог бы найти другое место для утреннего намаза. Однако, погруженный в молитву, он меня и не слышал. Правду сказать, ему даже позавидовал: вот ведь какая сила веры, сколь сосредоточенное чувство и наверняка актуальность присутствия Бога, который для него здесь и сейчас, а не сомнительная абстракция или тезис, требующий доказательства. Он с такой мощью и уверенностью призывал наивысшую силу, что, казалось, она прямо сейчас низойдет к нему, – целиком ли во благо или кому-то и на беду? Не это ли та самая полынья духа, куда может и весь мир кануть? (В том своем раннем опусе я оговаривал, что они также и опасны, ничем не защищенные от мира, – но тем самым и мир от них беззащитен.) А не сменить ли веру, как меня пару лет назад всерьез убеждал наш дворник, бывший преподаватель научного атеизма в одном из среднеазиатских вузов? Я тогда посмеялся, но, может, и напрасно. Вдруг нынешний бунтующий ислам и есть роковое, свежее веянье освобожденного духа? А может быть, напротив – его коварнейшее отчуждение. Впрочем, как гяур и не в теме, тут не буду судить категорически. Возможность такого рода полыньи в свои ранние годы я и не предполагал – тогда были вовсе другие угрозы и надежды. И все же – нынешний мировой терроризм, не род ли бунта против с тех пор еще более ороговевших оболочек?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.